



Вячеслав
Лейкин

Нет
счастья
в жизни

геликон
плюс

Вячеслав Лейкин

Нет счастья в жизни

«Геликон Плюс»

2014

Лейкин В. А.

Нет счастья в жизни / В. А. Лейкин — «Геликон Плюс», 2014

ISBN 978-5-93682-931-4

Книга прозы известного поэта состоит из двух частей: рассказы и авторские записные книжки. Рассказы соединяют игривость анекдота с горестной порою живостью интриги. Записные книжки – свидетельство эпохи и творческая лаборатория автора, уникальный материал.

ISBN 978-5-93682-931-4

© Лейкин В. А., 2014
© Геликон Плюс, 2014

Содержание

Рассказы	6
Нет счастья в жизни	6
Лабытнанги	10
Совпадение	13
Улица нашего детства	16
Кровавый Колокольчик	17
На шестидесятилетие Владимира Соломоныча Хиенкина	17
Мелочи жизни	19
Близорукость	19
Муха	19
Ежик	19
Куры	20
Горб	21
Шутка	21
Троллейбус	22
Оборотень	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Вячеслав Лейкин

Нет счастья в жизни (сборник)

© Лейкин В., текст, 2014

© «Геликон Плюс», макет, 2014

Рассказы

Нет счастья в жизни

Я лежал на белейшем, тщательно просеянном и отсортированном вечностью песке усть-нарвского пляжа и не столько загорал, сколько отогревался и отсыпался после короткого, но утомительного полярно-полевого лета.

Был сентябрь, народ в основном разъехался, и в такие теплые дни здесь было вовсе даже неплохо.

Рядом растянулся на недонадутом матрасе парень примерно моих лет и кондиций. Который уж раз мы совпадали с ним на пляже, компании у него видно что не было, и он явно был не прочь обзавестись ею, полагая меня в конфиденты.

Однако я начал первый.

– Так уж и нет, – спросил я, разглядывая его в упор.

– Чего нет? – парень опешил.

– Счастья в жизни, – я показал на фиолетовую наколку на его правом плече.

Он засмеялся:

– Ты знаешь, нет. Жизнь есть, а счастья нет. Ты давно здесь перемогаешься?

Мы познакомились.

Я снимал тогда комнатушку под крышей в конце длинной улицы имени неведомой мне Лидии Койдулла. В комнате были кровать, стол, табурет и окно, обращенное к морю. Прибой ровно шумел, имитируя бесконечность, и воздух в раскрытом окне был плотным и удобным для дыхания.

Кроме меня наверху жили две дамы: старуха, проводящая здесь по полгода, и аспирантка-театровед, обе длинные, прямые, видно, что брезгливые, постоянно дремлющие над раскрытой книгой – одна в беседке во дворе, другая на складном стуле на пляже.

Старуха почти сразу перестала реагировать на мои пожелания чего-либо доброго и приятного: дня, вечера, аппетита. С девицей мне удалось провести две-три высокоинтеллектуальные пятиминутки, в конце третьей я неосторожно признался, что сам, так сказать, попираю литературную стезю, и тут же пропал в ее глазах. Девица готовилась в старухи.

А теперь вообразите: сосны, прибой, пустой поселок, чайный смех и осень во всем. И две надменные старухи, тоскливые, как сама идея бессмертия. Нетрудно догадаться, что на третий уже день я почувствовал себя одиноким и очень печальным существом. Тогда и вышло мне знакомство с носителем жизнерадостной наколки. Производил он впечатление человека затайливого, но не нахального, компанейского, но не навязчивого.

– У меня тоже нет счастья, – сказал я, – однако ж я не выставляюсь с этим на публику.

– Я пытался свести – пустой номер. Когда накалывал, молодой был, счастливый.

– Надолго сюда?

– Как получится.

– Интересный ты субъект. Свободу, небось, любишь?

– Свободу все любят, кто понимает, – отвечал он задумчиво.

Легкий он был человек. А я – одичавший от недельного почти молчания. Неделью пестовал свое жалкое одиночество, наливался им, чувствовал, как скальп на брови сползает. А тут вдруг «нет счастья в жизни» – и тонкие острые уши багровеют на солнце.

– Я тут недавно оказался заперт в одном странном доме, – говорил он мне часа через три. – Тоска такая, хоть Богу молись. И вдруг книга, Пушкин. Листнул от скуки, и всё – оторваться не могу. Ну хоть, например, вот это: «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением».

Дальше пустое, но это вот наслаждение мятежное – я просто запух. Доиметься бы до него, уж я-то бы так им дорожил. Да где взять? Или вот это: «Когда б не смутное влечение чего-то жаждущей души». Читал? Врешь! А если читал, то забыл, а не забыл, так не понял. Мне это смутное влечение жить по-людски мешает...

А вечером мы пили пиво в ресторане самообслуживания «Лайма»; в углу сидел горбун с ярко окрашенными губами и в лакированных туфлях и всё клонился на стол лечь, а женщина с раздачи кричала: «Коля, ты, ради бога, не усни здесь! Стыдно ведь!»

Новый товарищ мой говорил, не умолкая, похоже было, что он намолчался пуще моего.

– Вот горбун, горбатый человек, может ли он быть счастливым?

– Смотря что понимать...

– Да брось ты, все одинаково понимают. В словаре, например, сказано: «Счастье есть состояние высшей удовлетворенности жизнью».

– Там и словарь у тебя был?

– Где?

– Где ты с Пушкиным куковал.

– Там все было. Кроме свободы. Но ты меня не сбивай. Вот есть у горбуна это состояние или нет? Он один, этот урод, один на десять тысяч негорбатых. Или на сто. У него и мысли не такие, как у нас, и желания. Его не понимают и не любят. Женщины в том числе. Это больно. Но в этом уже есть высокое счастье. В принципе, горбун счастлив, а мы с тобой нет. Ты ведь тоже нет?

Я с удовольствием согласился.

С утра мы снова встретились и пошли вдоль береговой дуги к заставе – туда, где маячит темно-красная надпись на фанерном щите: «Внимание погранзона». А поскольку никаких других знаков на фанере не было, то погранзон этот казался специальным таким существом, и внимание его было безграничным.

И вдруг наткнулись на труп тюленя. Темно-серый грязноватый мешок с блестяшками глаз и седыми усами валялся на берегу, и волна его слегка раскачивала.

– Мне раньше казалось, – сказал я, – что только киты выбрасываются на берег. Оказывается, и эти туда же. Хорошо хоть по одному, а не стадами.

– Слишком у тебя все просто, – возразил мой спутник и перевернул тюленя ногой. На спине несчастной твари оказались две круглые дыры, понятно, что от пуль.

– Вопрос о тюленях остается открытым, – продолжил он. – Так же, как и вопрос о него-дях.

И прибавил, немного помолчав, тихо, но с неожиданной силой:

– Вот так и меня когда-нибудь. Но на берегу. И выбросят в море.

Я не стал его разуверять, и мы молча дошли до погранзона.

На обратном пути я спросил его:

– Слушай, где ты служишь? И кому?

– Если я скажу тебе, что работаю директором Ботанического сада, ты все равно не пове-ришь. Ну а инженером или там слесарем...

– Нет, брат, на инженера ты мало похож. Или на слесаря. Зачем слесарю Пушкин? Насла-ждения ему мятежного не хватает?

– А может, и не хватает. Это смотря какой слесарь.

– Ты – странный человек. Мне все кажется, что я тебя знаю с детства, а иногда в тебе вдруг такое проявится, словно и детства у тебя никогда не было.

Это я сказал ему потом, когда мы опять пили пиво в «Лайме». У окна сидела непонятно откуда здесь взявшаяся крупная и красивая в профиль женщина, а мы смотрели на нее, как она красиво ест, и сидит красиво, и на море смотрит, и все это в профиль. И наслаждение наше этим незамысловатым зрелищем было вполне безмятежно.

– Хочешь, я погадаю тебе? – предложил он однажды. – Говорят, я неплохо гадаю по руке, во всяком случае, прошлое угадываю довольно точно.

Он взял мою руку:

– Надо же, какие линии четкие. Учебное пособие для начинающего хироманта. Значит, так – ты беден, женат и, я должен тебя огорчить, второй раз уже не женишься. Детей двое. Один уже есть, не так ли? Пойдем дальше. Линия судьбы тянется далеко и затем резко уходит в сторону; это значит – проживешь долго, а успеха добьешься под самый конец.

– Все-таки будет мне в жизни счастье!

– Не мешай. Ох, вот это красиво! Слушай, я видел много ладоней, трудных, запутанных даже, но такого себялюбца, такого прожженного ревнивца я еще не встречал.

У него были длинные, холодные пальцы. Их вкрадчивые прикосновения щекотали, будоражили даже как-то не по-хорошему.

Я вырвал руку:

– По тебе гадать еще проще, прочел наколку – и в курсе. А насчет себялюбца – это ты брось. Может, я один и люблю себя на целом свете. А без любви-то каково?

– Без любви плохо, – отозвался он. Потом добавил: – Погода портится. Завтра утром уеду тартусским автобусом. Придешь провожать?..

Всю ночь шел дождь. Сперва он еле капал, потом действительно шел, а затем прямо-таки рухнул с неба и загрохотал по жестяной крыше, по подоконнику, по стеклу, захлебываясь в водотоках, и был невероятно похож на весенний ливень. И только когда он затихал ненадолго и яблоня напротив скрипела суставами и стучала по стене ветвями, было понятно, что это осень и умирание деревьев и дней.

Я слушал дождь и думал о моем знакомстве, о том, что такие нечаянные встречи почти никогда не имеют продолжения, потому что за два часа или дня успеваешь наговорить человеку столько неслучайного, потаенного даже, что потом за временем и видеть его неловко, словно он подглядел тебя в нехорошем.

И все-таки было жалко, что он уезжает.

Проснулся я оттого, что море шумело сильнее обычного. Натянул свитер и пошел на пляж.

Море было сердитое: серое, пенное, как при последнем походе Старика к Рыбке. Пляж пустовал, только загорелая женщина неуловимых лет быстро и равномерно шла вдоль берега. Процедуру эту она проделывала каждое утро и вечер тех дней, что я здесь жил: доходила до «погранзона», отталкивалась от щита руками, смотрела на часы и так же проворно и ровно шла обратно, не останавливаясь и не глядя по сторонам.

Видимо, торопилась долго жить.

Товарищ мой ждал меня возле автобуса.

– Вот, уезжаю, – сказал он и передал мне початую бутылку пива.

– Жаль, конечно, – и мы замолчали, глядя мимо друг друга.

Автобус проснулся, забормотал, зафыркал, бывшие вокруг начали суетиться.

– Ну что, обменяемся телефонами, – предложил я без особого, впрочем, энтузиазма.

Он посмотрел на меня внимательно, даже несколько холодно.

– Явор знаешь? – спросил он неожиданно.

Я растерялся:

– Ну знаю. Клен такой. Белый. А что?

– А ничего. Я – вор, понимаешь? Такой вот клен.

– Ничего не понимаю.

– Ну вор. У людей честных краду. Я ворую, а меня ловят. Ты – нормальный мужик, толковый, ты должен понять. Ничего уже не переменить. А ты говоришь – слесарь.

Я просто обалдел. Стою, смотрю во все глаза, и ни слова.

– Ты уж прости меня, так получилось. Ну нет в жизни счастья, – он засмеялся и поперхнулся сразу, закашлялся и пошел к автобусу. Я двинулся за ним.

– Прощай, – обернулся он. – Не обижайся.

– Да я что ж, – замямлил я почему-то виновато. – Если бы не ты, я подох бы тут от скуки.

– Прощай, – он поднялся в автобус, и тот сразу же тронулся.

Я глотнул пива, покурил и пошел к морю.

– Явор белый, – бормотал я сердито. – Врет и не поперхнется. Впрочем, поперхнулся...

А потом я вспомнил, какие у него были длинные проворные пальцы, и мне стало не по себе.

Вечером я уехал в Питер.

Лабытнанги

С утра позвонил приятель:

– Чем занимаешься?

– Яичницу ем.

– Слушай, мне не хотелось бы отрывать тебя от яиц...

– Что-нибудь случилось?

– Случилось. Я стихи сочинил, – и читает мне заупокойным голосом нечто тяжеловесное, однако же не лишнее, типа:

Быть колесом на карте мира
И пленником отхожих мест,
Рабом косматого кумира
И облаком, несущим крест...

– Всё, – говорю, – перехожу на прозу.

– Чего вдруг?

– Да так, приспичило. Раньше боялся, что лиру будет некому передать...

– А теперь?

– Теперь нормально. Теперь есть кому.

– Что ли, плохие стихи?

– Почему – плохие? Хорошие. Просто я устал. Зубы, ноги, спина, по-видимому, печень. Не говоря уже о гонорарах. Надоело!

Повесил трубку, доел яичницу и пошел переходить на прозу.

Тем более что давно собирался записать историю, случившуюся почти уже полвека назад в иркутском городе Ангарске, в ресторане «Ангара», куда мы зашли с новообретенным товарищем моим отметить окончание полевого сезона и где нас заприметили и при этом неверно поняли его старые знакомые, видно, что негодяи редкостные, от которых нам пришлось, выйдя из кабака, сначала отбиваться, потом убегать, а потом снова драться, уже с каждым по очереди, так как они бегали с разной скоростью.

Я эту историю вспомнил, когда в ТВ-ящике вдруг возникли Лабытнанги, городок такой деревянный в низовьях Оби, через который я в Салехард проезжал на полевые работы.

А Колька – так звали товарища моего – лет через пять после Ангарска, где он все это время с фортуной экспериментировал, напросился к нам в партию, а когда сезон закончился, вычислил какую-то барышню в Лабытнангах да и приосел у нее.

И вот когда показали по ящику Лабытнанги (они с хантыйского, а может, с ненецкого переводятся как «семь листовенниц»; я считал, у меня больше пяти не выходило), так вот, когда они – Лабытнанги эти – высветились на экране, я и вспомнил Кольку, как однажды по пути из Салехарда домой заехал к нему погостить.

Колька был один, семейство его укатило на юг, и он принял меня без церемоний: три пол-литры спирта, трехлитровая банка томатов и трехлитровая же с черной икрой, она еще ястык называется, так как вся в пленках.

Мы пили спирт, заедали помидорами с икрой и почти не пьянели.

– И не мудрено. – говорил Колька, – Она – икра эта подлая – так пропитывает собою стенки всего, через что проходит, что спирт, даже и неразведенный, практически бессилён.

Вот тогда мы и вспомнили этот скандал в Ангарске. Вспомнили и долго смеялись, хотя смешного там было совсем немного, потому что один из этих троих размахивал кастетом, а у другого был нож.

А еще вспомнили Наталью, кажется, Шерман или Норман, а похоже что Нейман, с прической типа воронье гнездо, но на ней смотрелось, даже впечатляло.

У Кольки было с ней что-то настолько обоюдное, что когда он утомился и отхлынул, я долго еще сушил ей соплю, да так тщательно, что сам чуть не угодил туда же...

Икра и томаты надоели, а спирт, наоборот, стал поусвояемее, и мы продолжали веселить душу памятью.

Вспомнили лето шестьдесят первого года, как в тех местах, где мы шурфы по лесам рыли и в маршруты ходили, начали освобождать дно для Братского моря: жгли леса и деревни и кладбища вывозили на самосвалах.

Я, например, вспомнил один маршрут, где мы были с Вадимом, начальником нашим, неутомимым свистуном, привередливым моралистом и вообще большим оригиналом; как мы шли с ним по лесной тропе, я впереди с палочкой, он метрах в десяти позади с веточкой, насвистывая «Сент-Луис», или «Бейсин-стрит», или еще какую-нибудь блюзовую топонимику.

И вот мы шагаем неторопливо: солнышко, птички, гнус – всё как обычно. Ан нет, не всё, потому как осиное гнездо, полное потаенной жизни, с дерева свисает. Я палкой по нему бац и дальше топаю. И вдруг свистун мой мимо мчится, уже молча, а вокруг его головы осиный рой ликующий...

А Колька про ондатру вспомнил. В речушке, где мы лагерем стояли, по ночам ондатры плескались. Особенно ближе к осени. Особенно при луне.

И вот наш топограф стал вдруг утверждать, что мясо ондатр чрезвычайно полезное, вкусное, даже деликатесное, и всех разговорами этими утомил до невозможности.

И тогда затеялись мы проверить нашего доставалу – купили крольчатины, натушили ее в казане и к топографу: не желаете ли отведать любимое блюдо?

– Какое такое блюдо?

– Да ондатрятину. Сами же говорили, так что угощайтесь, – и миску перед ним шарах.

Он аж в лице повредился и ни в какую: аппетита, мол, нет, интереса, и что-то там у него на конце прямой кишки нехорошее.

– Нет уж, извольте кушать, иначе полное вам от коллектива недоверие.

И вот, дрожащий от омерзения и бледный от решимости, взял он кусок, затолкал в рот, и как пошло его, бедолагу, чистить – смотреть невозможно. Да мы и не смотрели, а сели в кружок да и навернули дружно эту с понтом ондатрятину...

А потом я рассказал Кольке историю про геофизика Леню, нынешнего Колькиного – через два дома – соседа. А за год до того Леня жил в Салехарде и в течение почти месяца каждое утро под завывание в окне радиогимна выходил во двор с помойным ведром в одной руке и красным знаменем в другой и медленно, как бы даже церемониальным шагом, направлялся к помойке.

Естественно, доброжелатели сообщили, куда следует. Леню туда вызвали, и кто следует спросил его, чего это он. Леня отвечал: «Ежеутренний символический ритуал очищения от всего наносного, скверного, чуждого. Понятное дело, под ритуальные звуки и с красным знаменем. Как у Маяковского: “Я себя под Лениным чищу”, – помните?» – «Помним, – сказал кто следует и прибавил: – Леня, ты человек известный, тебя все уважают, поэтому пока пятнадцать суток. Но учти...» – «Учту», – пообещал Леня и отправился, куда послали.

После этого две недели кряду днем он шастал по городу почему-то с шахматными часами, а ночью просвещал алкашей по вопросам гражданского права и простого человеческого счастья.

Между прочим, сейчас в Салехарде есть улица имени его фамилии. Но это так, к слову...

А потом мы вспомнили маршрут по Казыму, как Колька ловил рыбу, задремал и рухнул в этот самый Казым...

Так, вспоминая о милых сердцу пустяках и не забывая о главном, мы в конце концов слегка переутомились и не заметили, как уснули...

На следующее утро позвонил приятель. Тот самый. Между прочим, художник, и весьма продажный, сиречь популярный. Позвонил и говорит:

– Старик, ты будешь смеяться.

– Ну если ты так настаиваешь...

– Серьезно.

– А что случилось?

– Решил перейти на прозу.

– Что?!

– Прозой хочу заняться.

– Вчера стихи, сегодня проза. А картины кто будет писать? Пушкин?!

– Я повесть о жизни решил сочинить.

– Хренада! – восхитился я.

– Потому что если ее не описать, то как будто и не жил. Называться будет «Раскаяние Авеля».

– Это ты, что ли, Авель?

– Практически безгрешен.

Возразить мне было нечего, и я стал смеяться.

– Я же говорил, что будешь смеяться, – обиделся приятель и повесил трубку.

А я просмеялся и пошел сочинять стихи. Что-то такое, нервно-паралитическое, типа:

Не заводите надо мной петли,
И не вопите за спиною «Пли!»,
И в душу мне не впрыскивайте дозу.
Меня здесь нет. Сгорели корабли,
Попрела репа, выцвели рубли,
И хронос завершил метаморфозу.

Совпадение

История, которую я собираюсь рассказать, произошла именно со мной. Даже две истории, просто они похожи и уместились в один день – так что вроде как и одна. Впрочем, одна и есть, потому что главное в рассказе этом – сходство двух случаев, происшедших с одним и тем же человеком, то есть со мной, в один и тот же день.

Обычно подобным рассказам люди не очень-то склонны верить, хотя слушают с интересом. А почему не верят – непонятно, ведь каждый, и не однажды, запутывался в каком-нибудь невероятном сплетении событий. Причем любое из этих событий вполне вероятно, просто слегка необычно, ровно настолько, чтобы обратить на себя внимание. Но события эти порой образуют такие фантастические связки, цепи, гирлянды, что поневоле начинаешь задумываться о некоем потустороннем промысле, но не божественном, а скорее уже бесовском.

Ведь как бывает. Вышел человек из дома и сразу поскользнулся. Упасть – не упал, но когда выворачивался, в животе у него что-то сместилось, хрустнуло и заболело. Не очень сильно, но чувствительно. Человек пришел на остановку и начал ждать. Прошло три сто сорок-пять, два сто сорок-шесть, тридцать первый и целых четыре сорок-пять. Даже пятьдесят второй, которого обычно не дожидаться, прошел два раза. А тридцатого все не было. Заметьте – тридцатого. А поскольку живот побаливал, человек и подумал: «Кажется, начинается».

Тридцатый все-таки пришел. Человек занял место на задней площадке и стал доставать за проезд. Тут автобус как-то подлю тряхнуло, человек подпрыгнул, сумка упала на пол и бутылка разбилась. Что делать – он вышел и стал вытряхивать в урну осколки и мокрые газеты, а в это время подошел еще автобус и обрызгал ему парадные брюки.

На свидание этот человек, естественно, опоздал, однако успел заметить в переулке коричневое пальто, содержимому которого собирался нынче предложить руку и сердце. Он все-таки догнал ее, тронул за плечо и сказал: «Валя, я сейчас все объясню», но это оказалась, понятное дело, не Валя, просто пальто такое же, а самое главное, пол-лица у не-Вали занимало безобразное малиновое пятно. Пятно разъехало и сказала: «Видимо, совпадение». И тут человек с пронзительной ясностью понял, что он должен был опоздать на это свидание и что предполагаемое объяснение его бессмысленно и никому не нужно. Он понял это и засмеялся, и тягостное чувство в животе тут же исчезло. Между прочим, не женат до сих пор.

Но про этого человека я все придумал, а то, что собираюсь рассказать дальше, истинная правда. Я даже, чтобы убедительнее было, попробую представить историю свою в третьем лице.

В конце рабочего дня Гусев ощутил вдруг какую-то тревожащую усталость и решил пройтись до метро пешком. Он шел по Литейному и неторопливо думал, почему рабочий день кажется бесконечным, а жизнь, наоборот, короткой. Мысль была праздная, не сулящая откровений, и Гусев совсем было собрался поменять ее на размышление о лаборантке Сонечке, от игривых пустопрений с которой пора было переходить к следующей стадии, но в это время в передних дверях троллейбуса, раскрывшихся как раз возле Гусева, запроисходило нечто шумное, бурное, нехорошее. Несколько мужчин пытались вытолкать нетрезвого парня, а он упирался и бранился. Не успел Гусев разглядеть в деталях эту сцену, как из троллейбуса крикнули: «Мужчина, что же вы стоите?!»

Почти машинально Гусев схватил упирающегося за рукав и дернул на себя. Тот вылетел, почти выпал на тротуар, двери захлопнулись, троллейбус укатил, Гусев получил по физиономии, буквально сразу же рядом раскрылась дверь следующего троллейбуса, парень вскочил в него и уехал, а Гусев остался стоять посреди Литейного, и вид его был самый плачевный.

Сейчас, когда я вспоминаю этот случай, он мне кажется забавным, даже смешным, но тогда Гусеву было совсем не до смеха.

С деревянным или словно составленным из протезов лицом Гусев ввалился домой, мрачно разделся и тут же потребовал у сына дневник. Расчет его оказался правильным, и сын тут же получил по плутоватому, обкиданному веснушками фейсу. «Я тебе покажу, как быть несобранным! Ты у меня будешь собранным!» – кричал Гусев, как-то даже упиваясь этим уродливым словом из кровавой записи в дневнике. Сын ушел за шкаф сопеть и шмыгать, и Гусеву стало легче. Но ненадолго. После ужина саднящая тяжесть несмытого унижения сменилась горчайшей отроческой обидой. «В следующий раз не лезь, – зло думал Гусев, – без тебя разберутся. В следующий раз надо будет сразу вломить, а не глаза таращить. В следующий раз на такси догону гада», – хотя отлично понимал, что следующего раза не будет, ну не будет, не повторяются такие гнусные оказии.

Гусев врубил телевизор, развернул газету. Постепенно мысли его округлились, уплотнились и закружили, толкаясь и подпрыгивая, как шарики «Спортлото».

По первому каналу, как по Обводному, жизнерадостно булькая и поигрывая радужными пятнами, двигался мутный поток, именуемый «Шире круг». Сын спал, продолжая и во сне оставаться несобранным: ноги на одеяле, голова чуть ли не под подушкой. Гусев поправил его и снова вернулся к «Ширекругу», Круг размышлений его, напротив, стал у2же, предметнее и все более напоминал список дел, которые следует не забыть исполнить: мичману за стенкой надо будет популярно объяснить, что стучать и скрежетать по утрам, особенно воскресным, по меньшей мере неэтично, а будет выступать – дать в рог; Кузину намекнуть, что если он кандидат и начальник группы, то это вовсе не дает ему права вонять по любому доводу, а в крайнем случае можно и в глаз; Леве Брандту при повторном выступлении махануть, чем попало, что под руку попадет; Аркаше за его гаденькие улыбочки просто-напросто порвать пасть, и пуцай себе улыбается до скончания дней.

Телевизор стал мешать вольному течению мыслей, и Гусев даванул клавишу. На душе стало свободно и тепло.

Заверещал телефон. Звонила жена от метро, просила встретить на кольце, тем более что прямо от театра за ней увязался какой-то тип и все время предлагал свои мерзкие услуга. Вот и сейчас – она звонит, а он стоит у автомата и ухмыляется. Ждет.

– Он дождется, – радостно сказал Гусев. – Давай, вези его. А я встречу.

Два автобуса Гусев пропустил – ничего интересного. В третьем мелькнуло коричневое пальто жены. Гусев затрепетал. Он встал возле выхода чуть сбоку, чтобы не мешать людям выходить, и сосредоточился. Вышли пятеро, затем появился тот самый тип, которого Гусев успел разглядеть возле жены сквозь затекшие окна автобуса. На выходе он замедлился и, обернувшись, стал что-то говорить гусевской жене. Гусев ее не видел, только пальто сквозь щели мелькало.

– А ну, падаль, выходи! – клеоча, выкрикнул Гусев и дернул неведомого соперника за рукав.

Неведомого? Когда бы так! Перед Гусевым стоял тот самый парень, которого днем он имел глупость выдернуть из троллейбуса, только почему-то он был трезв. Но Гусев мог бы побожиться чем угодно на чем угодно, что это был тот самый поганец, который пятью часами ранее...

– Ты чего, совсем? – спросил парень, отодвигаясь от Гусева.

– Леня, не связывайся, не видишь, он пьян, – сказала... но это была не моя жена, просто пальто было совершенно такое же.

– А вы постыдились бы, – сказала она мне. – Вроде порядочный человек, а ведете себя, как хулиган.

И они ушли.

Я стоял, совершенно ошарашенный, потрясенный всей этой чепухой и тем, что парень оказался тот же самый, только он меня, естественно, не узнал, и что пальто было такое же.

– Полная чушь, – сказал я и засмеялся, ну буквально захохотал в голос. И тут приехал еще автобус, и оттуда вышла моя жена в коричневом...

Я просто зашелся от смеха.

– Ты чего? – спросила она и незаметно обнюхала меня. – Тот тип отстал. Потоптался на остановке и ушел. Ну чего ты? Что с тобой?

Но я не мог остановиться, не мог ничего ей объяснить, я шел за нею следом и хохотал, как ненормальный, как проклятый.

Улица нашего детства

Позвонил мне однажды мой школьный товарищ, большой руки пушкинист, все «наше все» у него на откупе. А мы с ним не только учились в одном классе, но и жили на одной улице в соседних домах, я до сих пор здесь обретаюсь, а он давно съехал.

Ну и вот, позвонил он и спрашивает:

– Старик, ты дома? – и не успел я обдумать ответ, как он говорит: – Сейчас мы будем, – и трубку бросает.

И точно, явились: Сереженька мой мордастый с по-толстовски развевающимися бровями и с новыми, не освоенными еще зубами, а с ним телегруппа – снимать сюжет из цикла «Улица нашего детства».

И пошло-поехало: софиты, стрекотанье камеры, глуховатые команды режиссера.

И вот я уже непринужденно и весьма взволнованно пою гимн десятого «б» на свой же текст (помню, оказывается), вот мы разглядываем с соучником и соклассником моим наши отроческие фотографии, и он, наткнувшись на одного из нас, спрашивает:

– А как Ленька, всё там же?

– Где?

– Ну, где работал. Работает еще?

– Зарыли Ленечку, – говорю, – два уже месяца тому.

Он помолчал, фотографии перебирает и снова:

– А как Лимон (наш учитель математики)? Здоров ли?.

– Лимон три года уже на Казанском лежит.

– А почему мне не сказали?

– Не доложили?

– Нет, я правда не знал. Жаль.

Посопел, пошуршал фотоальбом и снова:

– Что-то я про Шнобеля давно не слышал.

Шнобель – это Вова наш Андреев, лет уже пятнадцать тому сгоревший от пьянства. Я ему (Сереже):

– Шнобель уже лет пятнадцать как...

Он, почему-то вдруг обиженно:

– Да я у тебя и спрашивать больше ни о ком не стану!

– А ты про меня спроси. Я-то вот он, снаружи пока...

Так и записали наш нелепый, а в сущности, печальный разговор. Но только вряд ли что покажут.

А песню, думаю, оставят, больно уж я был в ней хорош, даже подплясывал себе, поющему, от непонятно откуда взявшегося восторга.

Кровавый Колокольчик

Однажды приезжаю к другу своему Соломонычу на конюшню, а он весь какой-то сомнамбулированный: медлителен в речи и при ходьбе колеблется не по-хорошему.

Оказывается, за день до моего приезда слетел он с лукавого и ленивого красавца Карагеца и ударился головой о барьер. Да так сильно, что даже почти не пил вечером, а только улыбался виновато.

Наутро снова пошел барьеры расставлять.

– Ты что, опять? – спрашиваю. Кивает. – На Керогазе? – это я его с досады так, конь вообще-то безукоризненный красоты.

– На нем, – отвечает.

– Это, – говорю, – уже, брат, не сотрясение мозга, а полная идиотия. А если он тебя снова о барьер ломанет?

– Значит, не судьба, – отвечает. – Или судьба... – и улыбается.

– Ты бы хоть отлупил подлеца.

– За что?

– Как за что? Работать не хочет, подличает. Всё ведь понимает...

– Понимает. Они всегда всё понимают.

– Вот и отлупи. Выбери дрын потяжелее...

– Какой дрын? Ты что! – закричал Соломоныч. – Я даже рассердиться на него не могу. Это же конь. Ну да, хитрит, упирается, лукавит – все равно виноват-то я. Не научил, не воспитал...

И рассказал мне, как единственный раз разозлился на коня.

...Это было в самом начале моей лошадиной карьеры, на конюшне в Пушкине. Там был жеребец с издевательской кличкой Колокольчик. И был он совершенно неуправляемой зверюгой: бросался на кобыл и с меринами дрался.

Однажды он прорвался на манеж и давай гоняться за меринком, на котором сидела наездница, как сейчас помню: ее звали Ира Силина. И он, этот гнусный Колокольчик, догнал-таки мерина, прижал его к стенке, вскочил на него и вырвал зубами у Иры из руки пониже плеча солидный клок мяса, аж до кости.

Девчонку унесли, увезли на «скорой», а я пришел в совершеннейшую ярость, увидев его подлую морду в человеческой крови. Я взял палку, вскочил на него и стал гонять по манежу, дубася его со всех моих сил. Меня едва оторвали от него, избитого, еле ноги волокущего, испуганного – я увидел его морду потухшую в пене и крови, уже собственной, и мне стало ужасно: стыдно, гусно, ну совершенно не по себе.

И никогда больше, ни разу единого я не злился на них. Сердился на себя, досадовал на обстоятельства, а на коней – никогда...

А с Колокольчиком этим подлым еще случай вышел. У нас девушка была, несколько странная, там же, на пушкинских конюшнях. И ходила эта барышня всегда в такой конькобежной шапочке вязаной с козырьком. Она ее никогда не снимала и даже, наверное, спала в ней, не знаю, проверить не удалось. Однажды собралась она зайти в стойло к Колокольчику, ну как обычно, убрать, овса положить. И почему-то вдруг решила перед этим снять свою неснимаемую шапочку. Сняла и вошла. И буквально сразу же вышла. Но уже без одного уха. Откусил...

На шестидесятилетие Владимира Соломоныча Хиенкина

(стихи эти, между прочим, напечатал журнал «Кони Петербурга»)

Вроде время ни с места и звезды висят,

Как эпоху назад, полусонно мигая.
Вдруг листнул календарь, а тебе шестьдесят.
И хоть ангелы всё еще в лад голосят,
Но в замедленном темпе и тема другая.

И как будто не вечер, и всё как всегда,
И природу язвит неопознанным лоном,
Но когда тебе лепят – «душа молода»,
Это значит – беда, это значит – туда,
Где мы были в порядке, уже запахло нам.

Впрочем, кони пасутся, и ластьются псы,
И друзья приезжают лечиться от скуки,
И не меркнут, не вянут бывшие красы,
То есть грудь колесом, и с подкрутом усы,
И во взоре – как встарь – ни сомненья, ни муки.

И на этой волнующей душу волне
Так приятно признаться отнюдь не по пьяни:
Ты везде и во всем был весьма и вполне,
И всегда со щитом, и всегда на коне,
Даже там, где ты кнопки давил на баяне.

Жизнь отнюдь не компот, не фонтан, не гамак,
То серпом где не надо, то шкуркой по коже,
Утомителен срок и сомнителен смак.
Но когда под тобою парит аргамак,
Ты – похоже, что выиграл. Очень похоже.

Мелочи жизни

Близорукость

Один чужак был в компании – там пили вино и говорили про высокое, в частности про художника Ван Гога.

И вот когда зашел разговор про то, как Ван Гог отхватил себе ухо, чужак вдруг и говорит:

– Счастье еще, что этот Гог не был близоруким.

– А то бы что? – спросили его.

– А то бы как бы он очки носил без уха?

Это было так неожиданно, что все задумались. Долго думали, даже пить перестали.

– А он бы пенсне носил, – догадался вдруг кто-то, и все даже вздохнули облегченно, хотя представить Ван Гога в пенсне было трудно. Без уха – запросто, а вот в пенсне...

– Хорошо еще, что он нос себе не оттяпал, а то бы и пенсне не помогло, – сказал чужак, – если бы, конечно, этот Гог был близоруким.

Муха

Мне эту историю знакомый одного моего друга рассказал – то ли режиссер, то ли культработник, в общем, чужак и оригинал. И соврать любитель. Но про этот случай божился, что чистая правда.

В одном доме все сидели – человек восемь, в основном парни – и ловили кайф, поскольку все здорово покурили. И вдруг заметили муху. Она летела медленно-медленно, будто ползла по воздуху, и когда поравнялась с одним из них, он взял со стола ножницы и перестриг ее пополам.

И тут все начали ужасно смеяться. Они попадали на пол, забили по воздуху ногами и стали пускать носом и ртом пузыри. И один из них не выдержал такого смеха и умер.

Когда остальные это заметили, они перестали смеяться, сосредоточились и долго сидели молча, очень печальные.

– И вот с тех самых пор, – заключил свой рассказ знакомый моего друга, – как только я начинаю почему-либо смеяться, то вспоминаю тот нелепый случай и мне сразу становится грустно.

И я поверил ему, потому что давно заметил эту его странную манеру отчего-нибудь захотать в голос, заржать, заблеять, захрюкать и вдруг резко перестать и долго смотреть на всех тяжелым остановившимся взглядом.

А все, глядя на его мгновенно переменяющуюся физиономию, еще пуще заходятся.

К счастью, никто пока еще не умер.

Ежик

Праздновали новоселье. Было много гостей, и все шумно ели и смеялись. И щедро отпускали комплименты хозяину по поводу того, как он шикарно обставил и оформил свою квартиру. Особенно хвалили обои – не то финские, не то немецкие, очень красивые обои. Хозяин ликовал.

Пришел еще один гость и принес бутылку вина «Игривое». Это такое вино: по вкусу пойло, но стреляет пробкой, как шампанское.

Стали открывать. Один молодой человек, очень непосредственный, потребовал:

– Дайте мне! Я открою!

А был июль, и вино это разогрелось и представляло немалую опасность для застолья.

Так и вышло. Только молодой человек отвернул проволоку, пробка как выскочит, и это «Игрисное» давай хлестать гейзером. Молодой человек только и успел, что отвернуть бутылку от гостей – и по обоям, по обоям, как из автомата. Как сказал поэт – «вся комната янтарным блеском». Чуть-чуть на дне осталось.

Обои в потеках, в гроздьях пятен – смотреть тяжело. А на хозяина так и невозможно даже. Сидит, сопит, молчит. И все молчат. Жуткая сцена.

Вдруг из-под кровати выбежал ежик и начал пить из лужицы. Молодой человек закричал весело, видимо, пытаясь как-то поправиться:

– Смотрите, ежик! Ежик пьет!

Тогда хозяин наклонился, взял ежика в руку да как шарахнет им по затекшим обоям. Ежик и умер.

Такая вот печальная история получилась.

Куры

Выйдя в отставку, полковник поселился на даче и завел кур.

– Эких дур завел, – говаривал он, прихохатывая. – Команд не понимают, строем не могут – полная запущенность. Впрочем, худо ли: яйцо, мясо, а хлопот, почитай, никаких.

И в самом деле никаких: с утра выпустил, вечером загнал. Ну там покормить, попоить, загончик слегка почистить – и все дела!

Самое беспокойное было – выгонять кур из бурьяна, росшего за участком. Бурьян высокий, почти в полковничий рост, кур не видать, только квохтанье их сосредоточенное рассыпается пунктиром по всем направлениям.

Но полковнику даже нравилось ходить перед вечером по бурьяну, руками размахивать и кричать отрывистым вольным голосом.

В один из вечеров девчушка лет эдак пяти бежала домой из гостей прямоходом через полковничий бурьян. И вдруг – приспичило ей присесть.

А как раз в это время полковник начал по бурьяну ходить и злыднем кричать:

– А ну, вылазь, подлая тварь! Вылазь, говорю! А то ведь смотри у меня – живо ноги поотрываю! – и так он быстро-быстро дошагал до девочки.

А та сидит на корточках и встать боится: голос у полковника зычный, слова тяжелые, резкие.

– Дяденька, – говорит девочка, – не ругайте меня. Я больше не буду. Полковник встал вкопанно, дрожь ему в колени ударила, ужас горло перехватил: голос-то он услышал, а никого не видать.

– Что? – вскрипел. – Что ты сказала?

А из бурьяна опять:

– Дяденька, я больше не буду. Не ругайтесь.

И не видно никого.

Заревел полковник, голову ослабевшую руками прижал – и к дому. Сел у себя в комнате, губы скачут во все стороны, пот со лба валится. Сколько всякой ерунды невероятной понагляделся и понаслушался за свою полковничью жизнь, но чтобы такое...

Вышел через час на крыльцо, а куры сами уже из бурьяна повылезли, ходят вокруг дома, пыль клюют, перекудахтываются негромко.

Смотрит на них полковник и никак не может понять, которая говорящая.

Ночь не спал, маялся, курил, думу думал, муку мыкал, а назавтра и запил как следует.

И кур этих раздолбанных за бесценку пропил.

Горб

На заводе, где производят телевизоры, образовалась некая шустрая компания, небольшая, но весьма изобретательная.

Они придумали следующую аферу: выносили детали телевизора – всякие там панельки, шурупчики, ручки, лампочки, даже ящик по частям выносили в специальном чехле на широкой спине одного из них.

Они также вынесли и собрали на дому аппаратуру для настройки телевизоров.

Идея была проста и по-своему грациозна: из наворованных деталей собирать дома телевизоры и через разнообразные посредства их сбывать.

Основная трудность была – придумать, как выносить с завода кинескопы.

И надо отдать этим ребятам должное – придумали. Пришел на этот завод горбун и устроился грузчиком, как раз в кинескопический цех. В паспорте и трудовой не пишут, горбат или нет, с виду мужик крепкий, ну и оформили его. Вот он и ходит утром на работу, вечером обратно, только горб колыхнется, как у пережравшего верблюда.

А горб – и это, я думаю, понятно уже – надувной, то есть в ту сторону, на работу, он надувной, обыкновенная кислородная подушка, а как домой идти – сообщники пристраивали ему на место горба тщательно укутанный кинескоп.

И дело шло. Двигалось дело. И денюжки у ребят завелись. Ну и у горбуна, естественно. И начал он поддавать, да вкрутую, и однажды с бодуна забыл горб свой надуть. Так с плоской спиной и ввалился в проходную.

А вахтеры, в особенности пожилые дамы, народ на лица памятливы. А горбатого и тем более – как не запомнить?

«Стоп. А горб где?» – «Какой горб?» – «Такой. Вчера был, а сегодня где? Может, пропил?» – «Я пойду». – «Куда?! Стоять!» – да и вызвала начальника охраны.

Тут веревочка и размоталась. Сроки были, упреки, да куда уж – упущенного не воротишь.

А я думаю, что он – горбун этот – так в роль вошел, что и на спине уже не спал, и чесалась, наверное, подушечка даже. Вот и не надул. Тем более с бодуна.

Но вся эта история, и выеденного гроша – или как там? – ломаного яйца не стоила бы, если бы не удивительная ее концовка.

А дело в том, что на лесоповале, – а именно туда после суда определили нашего чудака, ему, зазевавшемуся не по делу, так по хребту ломануло соскочившей с запила лесиной, что после больницы, где он доматывал остатки срока, вышел он на свободу изрядно поврежденным, а именно горбатым.

Такие вот дела. А говорят, что Бога нет...

Шутка

Взрывник Голоедов пришел в контору партии качать права. Между застежек ватника у него торчал конец бикфордова шнура.

Главный инженер Паршин посмотрел на него со скукой, спросил не приветливо:

– Чего тебе, Голоедов?

– Второй месяц премии не дают. Это как по-вашему?

– По-нашему так: не пей, и все будет в порядке.

– Я на рабочем месте не пью.

– А дома?

– А дома мое дело.

– Нам телега пришла?! Пришла! – закричал Паршин. – Обязаны мы реагировать?

Голоедов придвинул стул, сел.

– Не уйду, пока аванс не выпишете.

Паршин, наоборот, вскочил, вышел из-за стола, встал перед Голоедовым:

– Мы тебе не аванс, мы тебе прогул запишем! Понял?

Голоедов кивнул.

Паршин достал сигареты, спички, закурил.

– А еще раз напьешься, как семнадцатого, уволим по статье. И чирикаться здесь с тобой никто не собирается.

Голоедов встал, тоже достал спички и зажег конец шнура, торчащего из-под ватника. Шнур зашипел, заплелся искрами.

Голоедов обхватил поперек рук главного, привалил его к стене. Тот выдергивался, но Голоедов держал крепко.

Конторские и все, кто здесь были, уже давно прислушивались к их перебранке, а тут, увидев, как оно обернулось, оторопели от неожиданности.

Голоедов между тем говорил громко и внятно:

– Из дома выгнали, с работы гонят, денег нет. В общем, не жилец Голоедов. Сейчас шнурок догорит и эти полкило, что у меня за пазухой, грохнут. Понял? Меня не будет живым, но и твоя требуха, на проводах повиснет.

Шнур трещал уже где-то в районе голоедовского живота. Бывшие в конторе, сообразив наконец, что к чему, ринулись наружу. Паршин неожиданно обмяк, закатил глаза и неприятно запах.

Голоедов усадил его на стул, расстегнул ватник и вынул кусок резинового шланга, из которого валил дым от догорающего шнура.

– Ладно, живи, – сказал он. – Я пошутил.

И пошел из конторы.

Троллейбус

Мужчина неопределенных лет и занятий шел по улице с дамой. То ли сделал он ей что-то такое ненароком, то ли, наоборот, не сделал, а должен бы был, то ли день обличьем не вышел – сверху гадость какая-то сырая сыпалась и тут же расплзлась под ногами, – по той или иной причине настроение у дамы было нехорошее.

Мужчина несколько раз спросил ее о чем-то, но лучше бы уж вовсе не получал ответа, такая его спутница была мрачная.

Так они дошли до троллейбусной остановки.

– Брось ты все это, – сказал мужчина, но дама не бросала.

– Ну хочешь, я тебя рассмешу? – спросил он и остановился.

– Пошел ты, – вяло ответила она, однако тоже встала.

Подшел троллейбус, задребезжал дверьми, во все стороны полезли люди.

Мужчина зашел за троллейбус, ловко разматал сзади веревку и отвел троллейбусные палки от проводов.

В троллейбусе что-то щелкнуло, сверкнуло, и он перестал дышать.

– Подержите, я сейчас, – сказал мужчина проходящему мимо гражданину, тот почему-то сразу согласился и начал держать.

Мужчина отошел к своей даме.

Прибежал водитель троллейбуса в резиновой рукавице и, увидев гражданина с веревкой в руке, напрочь потерял дар речи. Он просто взял и въехал гражданину в ухо своей тяжелой рукавицей. Тот выпустил веревку и, рыча, бросился на водителя. Водитель тут же обрел утерянный было дар, и дар этот оказался могучим и свободным.

Дама, начала смеяться.

– Вот видишь, – сказал ей мужчина. – Я же обещал. А ты не поверила.

– Ну ты и сволочь, – говорила между тем дама, сквозь приступы смеха. – Редкостная сволочь. Меня предупреждали, что ты сволочь, но я не верила, думала, как все. А ты просто фантастическая сволочь.

– Ну что ты, что ты, – засуетился мужчина, взял ее под руку, повел в сторону.

Троллейбус укатил.

С неба сыпалось и разъезжалось.

Было не смешно.

Оборотень

Насколько все-таки все условно в природе человеческой.

Взять хоть ту же красоту, – сколь немногим отлична она от безобразия: чуть крупнее рот, слегка лупастее глаз, тоньше нос, острее скула, круче лоб, висловатее щека – и ты не то что не красавец, а такая уже образина, что остается на острове безлюдном засесть и аленький цветочек отращивать...

– Но ты-то ведь красив, – сказал гример. – Так зачем тебе? Они и так все твои.

– Вот именно, – уныло согласился Красивый. – Слова не успеешь выговорить, глазами слегка мазанешь – и готово: она уже рядом, уже дышит с затактом. Надоело на фиг.

– Ну это я не знаю, – задумчиво сказал гример. – Это тебе скорее всего по другому ведомству надо – к товарищу Кащенко или к Скворцову-Степанову.

– Да нет же. Именно к тебе. Сделай мне другой фейс. Обыкновенный. Даже немного ущербный.

– Вот на! Зачем тебе? – удивился гример.

– На интеллект хочу ее взять.

– Кого?

– Кто попадет.

– Откуда у тебя интеллект, если ты от счастья своего отказываешься...

Но Красивый уперся: «Сделай и все!» – и уговорил-таки. А гример этот был такой, что из кого хочешь кого угодно сотворит: из Дон Кихота – Дон Жуана, из Эйнштейна – Франкенштейна, из бабушки – Красную Шапочку.

А здесь и всего-то на час работы получилось: где подкрасил, где клеим подтянул, где составчика особенного, на гуттаперчу похожего, ляпнул. Был Красивый, а стал никакой – заурядное такое мурло без особых примет. Одни глаза и остались от Красивого, влажные, темные, с шумными ресницами.

– А ты ими не лупи почему зря. Веками придерживай, – посоветовал гример и взял бывшего Красивого с собою в гости.

В гостях пили недорогое вино и говорили о любви. Одни – что любви нет, а лишь один сплошной самообман, другие – что как раз есть, только надо уметь ею пользоваться, а третьи – что было бы что назвать, а там без разницы как: хоть любовью, хоть сексом, хоть аэробикой.

Одна барышня, ничего себе, характерная такая, ее все называли полностью – Екатерина, говорила, что, господа, конечно же, есть, что Овидий, Абеляр, Гете, Пушкин и вообще все лучшие умы считали, что есть, и, значит, есть, и нечего тут, не дурнее нас с вами будут. А еще она говорила о преображающей силе любви, которая подлеца делает святым, меланхолика жизнелюбом, а убогого красавцем.

Многие этому смеялись, но, впрочем, особенно не возражали. А бывший Красивый, оказавшийся напротив Екатерины, поддакивал и кивал, кивал и поддакивал, а потом, где-то после пятой или шестой, вконец расвинговался и выдал жарким голосом сложноватый, но довольно убедительный период о том, что любовь – единственный символ веры, который остался у нас, обезбоженных, стреноженных неверием, что не понимать, не ощущать ее в себе просто невозможно – это распад, духовная погибель, и что он в принципе где-то согласен с Екатериной, любовь действительно преображает, просто его – он слегка смутился, однако продолжил – его никто по-настоящему не любил, и, конечно, он понимает, что не с его суконным в известный ряд, однако еще не вечер, еще душа отыщется на свете, и так далее до полного изнеможения публики.

Из гостей загримированный и Екатерина ушли вместе, и он, понятное дело, пустился ее провожать.

Для начала и как бы во исполнение некоего ритуала провожатый довольно-таки профессионально восхитился двумя-тремя подвернувшимися глазу архитектурными наворотами, а затем, изящно выйдя на котурны, весьма сносно продекламировал несколько малоизвестных сочинений Мандельштама и Тютчева.

Вскоре, впрочем, разговор вернулся на круги своя, и они, возбужденно перебивая друг друга, вновь заговорили о чувственном преображении: сам ли предмет хорошеет от восторга или в глазах любящего метаморфоза сия происходит, а также постепенна ли эта процедура или же внезапна.

Ни о чем толком не договорившись, добрались до ее дома; разговор был в апогее, расставаться не хотелось; тем более дома у нее никого – отец в командировке, мать на даче, – а в серванте несколько капель чудного финского ликера... Короче, произошло то, что, в принципе, и должно произойти и происходит сплошь да рядом с людьми молодыми и увлеченными друг другом.

Всю коротенькую ночь они не разлучались ни на миг, ну разве что выбежал он разок из комнаты с невинной целью оправить себя, а потом помылся и стрелой обратно...

– И вот когда в окнах, как это говорится, слегка забрезжил день грядущий, – продолжал свой рассказ Красивый, – начала она в меня всматриваться, сперва мельком, как бы спотыкаясь обо что-то, затем все внимательнее, все пристальнее, а потом, совершенно неожиданно, зажгла в комнате свет и уставилась на меня обалдело.

Красивый достал сигареты, закурил. Гример молчал, ждал продолжения.

– Что случилось? – спросил я ее. «Это не ты», – сказала она и повела меня к зеркалу. Я взглянул на себя – от твоих ухищрений ничего не осталось.

– Потому что теплой водой, – сказал гример.

– Почти горячей. То есть ни следа. Разве что глаза...

– Я предупреждал, – сказал гример.

– Стою перед зеркалом и удивляюсь, – продолжал Красивый. – «Как это не я? – говорю. – Я». – «Не ты! – она уже почти кричит. – Это другой человек. Не тот, с кем я шла по улице, с кем вошла в дом». Я молчу, смотрю в зеркало то на себя, то на нее, будто ничего не понимаю. «Ничего, – говорю, – не понимаю. Как то есть другой? Хуже, лучше?» Она молчит, и просто даже невооруженным видно, как крыша, у нее сползает. И тут я как бы озарился, как бы сообразил, в чем дело, и... «Понятно, – говорю. – Это же ведь то, о чем мы вчера еще толковали. Ты просто влюбилась и увидела меня другими глазами, ну как бы перелепила меня, приблизила к своему идеалу!» – «Я тебя ненавижу!» – говорит она медленно, и я чувствую: сейчас в ней что-нибудь вскипит, а дальше непонятно. Ломанет, чем попало, по кумполу или химией какой-нибудь прыснет – и тогда уже никакой грим не спасет. Но нет, смотрю, идет к телефону, набирает номер...

– Ага, – сказал гример, – звонит, зараза. Я сначала заругался: в такую рань! Совсем уже, думаю, озверели. А потом допер, в чем дело. Тем более тут рядом...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.